

и обиваю до сих пор, чтобы допечатать мои таджикские очерки, которые приняты, но для которых катастрофически отсутствует в газете место.

Не ходите же мне ко всем и не говорить: верьте мне.

Но Вас я могу просить об этом, — и я прошу Вас мне помочь.

С величайшим нетерпением жду Вашего ответа.

Позвольте пожелать Вам всего хорошего.

БОР. ПИЛЬНЯК

И. В. СТАЛИН — Б. А. ПИЛЬНЯКУ

<7 января 1931 г.>

Уважаемый тов. Пильняк!

Письмо Ваше от 4.I получил. Проверка показала, что органы надзора не имеют [в настоящее время (зачеркнуто). — *Ред.*] возражений против Вашего выезда за границу. Были у них, оказываются, колебания, но потом они отпали. Стало быть, Ваш выезд за границу можно считать в этом отношении обеспеченным.

Всего хорошего.

И. СТАЛИН

Е. И. ЗАМЯТИН — И. В. СТАЛИНУ

<Июнь 1931 г.>

Уважаемый Иосиф Виссарионович, приговоренный к высшей мере наказания — автор настоящего письма — обращается к Вам с просьбой о замене этой меры другой.

Мое имя Вам, вероятно, известно. Для меня как для писателя именно смертным приговором является лишение возможности писать, а обстоятельства сложились так, что продолжать свою работу я не могу, потому что никакое творчество немислимо, если приходится работать в атмосфере систематической, год от году все усиливающейся, травли.

Я ни в какой мере не хочу изображать из себя оскорбленную невинность. Я знаю, что в первые 3–4 года после революции среди прочего, написанного мною, были вещи, которые могли

дать повод для нападок. Я знаю, что у меня есть очень неудобная привычка говорить не то, что в данный момент выгодно, а то, что мне кажется правдой. В частности, я никогда не скрывал своего отношения к литературному раболепству, прислуживанию и перекрашиванию: я считал — и продолжаю считать, — что это одинаково унижает как писателя, так и революцию. В свое время именно этот вопрос, в резкой и обидной для многих форме, поставленный в одной из моих статей (журн[ал] «Дом искусств», № 1, 1920), был сигналом для начала газетно-журнальной кампании по моему адресу.

С тех пор, по разным поводам, кампания эта продолжается по сей день, и в конце концов она привела к тому, что я называл бы фетишизмом: как некогда христиане для более удобного олицетворения всяческого зла создали черта — так критика сделала из меня черта советской литературы.

Плюнуть на черта — зачитывается как доброе дело, и всякий плевал, как умеет. В каждой моей напечатанной вещи непременно отыскивался какой-нибудь дьявольский замысел. Чтобы отыскать его — меня не стеснялись награждать даже пророческим даром: так, в одной моей сказке («Бог»), напечатанной в журнале «Летопись» — еще в 1916 году, — некий критик умудрился найти... «издевательство над революцией в связи с переходом к НЭПу»; в рассказе («Инок Эразм»), написанном в 1920 году, другой критик (Машбиц-Веров) узрел «притчу о поумневших после НЭПа вождях». Независимо от содержания той или иной моей вещи — уже одной моей подписи стало достаточно, чтобы объявить эту вещь криминальной. Недавно, в марте месяце этого года, ленинградский Облит принял меры к тому, чтобы в этом не оставалось уже никаких сомнений: для издательства «Академия» я проредактировал комедию Шеридана «Школа злословия» и написал статью о его жизни и творчестве: никакого моего злословия в этой статье, разумеется, не было и не могло быть — и тем не менее Облит не только запретил статью, но запретил издательству даже упоминать мое имя как редактора перевода. И только после моей апелляции в Москву, после того как Главлит, очевидно, внушил, что с такой наивной откровенностью действовать все же нельзя, — разрешено было печатать и статью, и даже мое криминальное имя.

Этот факт приведен здесь потому, что он показывает отношение ко мне в совершенно обнаженном, так сказать — химически чистом виде. Из обширной коллекции я приведу здесь еще один факт, связанный уже [не] с случайной статьей, а с пьесой большого масштаба, над которой я работал почти три года. Я был уверен, что эта моя пьеса — трагедия «Атилла» — заставит наконец замолчать тех, кому угодно было делать из меня какого-то мракобеса. Для такой уверенности я как будто имел все основания.

Пьеса была прочитана на заседании Художественного совета Ленинградского Большого Драматического Театра, на заседании присутствовали представители 18 ленинградских заводов — и вот выдержки из их отзывов (цитируются по протоколу заседания от 15-го мая 1928 г.).

Представитель фабрики им. Володарского: «Это — пьеса современного автора, трактующего тему классовой борьбы в древние века, созвучную современности... Идеологически вполне приемлема... Пьеса производит сильное впечатление и уничтожает упрек, брошенный современной драматургии, что она не дает хороших пьес...» Представитель завода им. Ленина, отмечая революционный характер пьесы, находит, что «пьеса по своей художественной ценности напоминает шекспировские произведения... Пьеса трагическая, чрезвычайно насыщена действием и будет очень увлекать зрителя».

Представитель Гидромеханического завода считает «все моменты в пьесе весьма сильными и захватывающими» и рекомендует приурочить ее постановку к юбилею театра.

Пусть насчет Шекспира товарищи рабочие хватили через край, но во всяком случае о той же пьесе М. Горький писал, что считает ее «высокоценной и литературно, и общественно» и что «героический тон пьесы и героический ее сюжет как нельзя более полезны для наших дней». Пьеса была принята к постановке театром, была разрешена Главреперткомом, а затем... показана рабочему зрителю, давшему ей такую оценку. Нет: затем пьеса, уже наполовину срепетированная театром, уже объявленная на афишах, — была запрещена по настоянию ленинградского Облита.

Гибель моей трагедии «Атилла» была поистине трагедией для меня: после этого мне стала совершенно ясна бесполезность

всяких попыток изменить мое положение, тем более что вскоре разыгралась известная история с моим романом «Мы» и «Красным деревом» Пильняка. Для истребления черта, разумеется, допустима любая подтасовка — и роман, написанный за девять лет до того, в 1920 году — был подан рядом с «Красным деревом» как моя последняя, новая работа. Организована была небывалая еще до сих пор в советской литературе травля, отмеченная даже в иностранной прессе: сделано было все, чтобы закрыть для меня всякую возможность дальнейшей работы. Меня стали бояться вчерашние мои товарищи, издательства, театры. Мои книги запрещены были к выдаче из библиотек. Моя пьеса («Блоха»), с неизменным успехом шедшая во МХАТе 2-м четыре сезона, была снята с репертуара. Печатание собрания моих сочинений в изд[ательств]е «Федерация» было приостановлено. Всякое издательство, пытавшееся печатать мои работы, подвергалось за это немедленному обстрелу, что испытали на себе и «Федерация», и «Земля и фабрика», и особенно «Изд[ательств]во писателей в Ленинграде». Это последнее изд[ательств]во еще целый год рисковало иметь меня в числе членов правления, оно осмеливалось использовать мой литературный опыт, поручая мне стилистическую правку произведений молодых писателей, в том числе и коммунистов. Весной этого года [ленинградский] отд[ел] РАППа добился выхода моего из правления и прекращения этой моей работы. «Литературная газета» с торжеством оповестила об этом, совершенно недвусмысленно добавляя: «... издательство надо сохранить, но не для Замятиных». Последняя дверь к читателю была для Замятина закрыта: смертный приговор [подчеркнуто автором. — *Ред.*] этому автору был опубликован.

В советском кодексе следующей ступенью после смертного приговора является выселение преступника из пределов страны. Если я действительно преступник и заслуживаю кары, то все же, думаю, не такой тяжелой, как литературная смерть, и потому я прошу заменить этот приговор высылкой из пределов СССР — с правом для моей жены сопровождать меня. Если же я не преступник, я прошу разрешить мне вместе с женой, временно, хотя бы на год, выехать за границу — с тем чтобы я мог вернуться назад, как только у нас станет возможно служить в литературе большим идеям без прислуживания маленьким лю-

дям, как только у нас хоть отчасти изменится взгляд на роль художника слова. А это время, я уверен, уже близко, потому что вслед за успешным созданием материальной базы неминуемо встанет вопрос о создании надстройки — искусства и литературы, которые действительно были бы достойны революции.

Я знаю, мне очень нелегко будет за границей, потому что быть там в реакционном лагере я не могу, — об этом достаточно говорит мое прошлое (принадлежность к РСДРП(б) в царское время, тогда же тюрьма, двукратная высылка, привлечение к суду во время войны за антимилитаристскую повесть). Я знаю, что если здесь в силу моего обыкновения писать по совести, а не по команде — меня объявили правым, то там раньше или позже по той же причине меня, вероятно, объявят большевиком. Но даже при самых трудных условиях там я не буду приговорен к молчанию, там я буду в состоянии писать и печататься — хотя бы даже и не по-русски. Если обстоятельствами я буду приведен к невозможности (надеюсь, временной) быть русским писателем, — может быть, мне удастся, как это удалось поляку Джозефу Конраду, стать на время английским, тем более что по-русски об Англии я уже писал (сатирическая повесть «Островитяне» и др.), а писать по-английски мне немногим труднее, чем по-русски. Илья Эренбург, оставаясь советским писателем, давно работает главным образом для европейской литературы — для переводов на иностранные языки: почему же то, что разрешено Эренбургу, не может быть разрешено и мне? И заодно я вспомню еще одно другое имя: Б. Пильняка. Как и я, ампула черта он разделял со мной в полной мере, он был главной мишенью для критики, и для отдыха от этой травли ему разрешена поездка за границу; почему же то, что разрешено Пильняку, не может быть разрешено и мне?

Свою просьбу о выезде за границу я мог бы основывать и на мотивах, более обычных, хотя и не менее серьезных: чтобы избавиться от давней хронической болезни (колит) — мне нужно лечиться за границей; чтобы довести до сцены две моих пьесы, переведенных на английский и итальянский языки (пьесы «Блоха» и «Общество почетных звонарей», уже ставившиеся в советских театрах), мне опять-таки нужно самому быть за границей; предполагаемая постановка этих пьес вдобавок дает мне возможность не обременять Наркомфин просьбой о выдаче

мне валюты. Все эти мотивы — налицо: но я не хочу скрывать, что основной причиной моей просьбы о разрешении мне вместе с женой выехать за границу является безвыходное положение мое как писателя здесь, смертный приговор, вынесенный мне как писателю здесь.

Исключительное внимание, которое встречали с Вашей стороны другие, обратившиеся к Вам писатели, позволяет мне надеяться, что и моя просьба будет уважена.

Е. ЗАМЯТИН

И. В. СТАЛИН — М. ГОРЬКОМУ

<10 января 1931 года. Москва>

Дорогой Алексей Максимович!

Посылаю документы о 1) группе Кондратьева и 2) меньшевиках. Просьба — не принимать близко к сердцу содержимое этих документов и не волноваться. Герои документов не стоят того. К тому же есть на свете подлецы почище этих пакостников.

У нас дела идут хорошо. Неважно обстоит дело с транспортом (слишком большой груз навалили), но выправим в ближайшее время.

Берегите здоровье.

Привет!

И. СТАЛИН

М. ГОРЬКИЙ — И. В. СТАЛИНУ

<1 декабря 1931 года. Сорренто>

Беспокоит — и очень — вот такая мысль: эмигранты очень обозлились за последнее время, причина злобы: безработица, сокращение газет и особенно события в Маньчжурии, в Харбине. Особенно неистовствуют — словесно — монархисты и террористические их организации. За Вами вообще усиленно охотятся, надо думать, что теперь усилия возрастут. А Вы, дорогой т<оварищ>, — как я слышал, да и видел — ведете себя не очень осторожно, ездите, например, по ночам на Никитскую, 6. Я совершенно уверен, что так вести себя Вы не